

УДК 821.133.1; 82-94

А. В. КАРПОВА, Е. Д. КРЕМЁНОВА*

ЖАК САДУЛЬ И ПЬЕР ПАСКАЛЬ: ДВА ВЗГЛЯДА НА РОССИЮ

В статье рассматриваются особенности восприятия русской революции французскими интеллектуалами на примере двух письменных свидетельств очевидцев того времени. По сочинениям Пьера Паскаля и Жака Садуля сравниваются позиции авторов относительно власти большевиков, анализируются высказывания о русском народе. Анализируются мировоззренческие различия, объясняющие те или иные высказывания. Особо рассматривается вопрос о религиозных основах революции, сближающий в сознании Паскаля католицизм и социализм.

Ключевые слова: русский народ, русская революция, французские интеллектуалы, христианство, социализм, коммунизм.

В числе свидетелей русской революции было немало иностранцев. Их вынужденное или добровольное присутствие в России 1917 года не осталось бесследным. Дипломаты, послы, военные в стремлении запечатлеть крушение старого мира вели дневники, писали письма и статьи. Наряду со знаменитым сочинением американского журналиста Джона Рида важны другие свидетельства очевидцев. По тем или иным причинам в России они не стали широко известны, а в годы советской власти публиковались частично или не публиковались вовсе. К таким свидетельствам относится «Русский дневник» Пьера Паскаля и «Записки о большевистской революции» Жака Садуля.

Оба автора — французские офицеры, члены Французской военной миссии, прибывшие в Россию накануне революционных событий: Паскаль в 1916 году, а Садуль незадолго до Октября. Они представляли французскую интеллигенцию и были людьми социалистического склада, но понимали социализм по-разному. Если Паскаль соединял его с верой в Христа («я — христианин, не отрицающий социализма»), то для Садуля сближались понятия социализма и большевизма, апологетом которого он становился всё больше, наблюдая за большевиками вблизи.

* Алина Вадимовна Карпова — студентка четвёртого курса Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); vgrozovskaya@gmail.com;

Елена Дмитриевна Кремёнова — студентка четвёртого курса Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); alechkastar1995@mail.ru

Главная задача французской военной миссии в России состояла в том, чтобы удержать Россию в войне. В письмах к известным политическим и общественным деятелям, в числе которых Альбер Тома, посол и министр вооружения Франции, Садуль прямо говорит о необходимости сотрудничества между новым русским правительством и союзниками по вопросам мира и войны. Для Садуля и Паскаля, как только они оказываются в России, становится очевидным то, что эта война русским не нужна. Садуль на первых же страницах «Записок» пишет: «Стремление к миру, — немедленному и любой ценой, — здесь всеобщее. Революция — наиболее верное средство добиться этого мира» [8, 14]. Паскаль не ограничивается эпистолярными воззваниями и проводит работу в полевых условиях, агитируя солдат сражаться до конца. Однако среди соотечественников, которые выполняли схожие функции в военной миссии, Паскаль и Садуль были в меньшинстве: «В то время как основная часть миссии уповала на скорый отъезд из России, четверо её членов: Ж. Садуль, П. Паскаль, М. Боди и Р. Пети вошли в августе 1918 года в состав англо-французской коммунистической группы в Москве» [5, 86].

Паскаль и Садуль не были единодушны в отношении к революции, но несмотря на различие политических взглядов, по словам журналиста Л. Нодо, их объединяла «абсурдность позиции», при которой, однако: «...эти культурные и искренние люди остаются симпатичными... Считаю их скорее наивными, доверчивыми, простодушными, нежели злодеями» [6, 9]. «Злодеи» возникают не случайно: обоих считали изменниками и за обоих вступалась французская интеллигенция. Абсурдность, видимо, заключалась в том, что при одинаковой «левизне» по отношению к буржуазному обществу они были людьми с разными целями.

Для Паскаля на первом месте стоит человек, он был не чужд гуманистических взглядов, но главное то, что выше человека для него существовал и Бог. Садуль не выстраивает иерархию ценностей, для него важнее единство: «быть с большевиками — это быть с громадной частью русского народа» [8, 187]. Интересно, что встречные характеристики, которые они дают друг другу, оказываются самыми точными. Паскаль говорит о своём соотечественнике: «По-моему, Садуль — социалист от ума, ради справедливости, а не из любви к простому народу. Он слишком привержен своему добру. Только у христианина может быть такая любовь...» [7, 455]. При всей глубине оценки, Паскаль скован собственными взглядами, о чём и пишет Садуль: «Паскаль по убеждениям — католик-толстовец, и он восхищается, — правда сугубо умозрительно, поскольку не был никогда знаком ни с одним большевиком, — движением, в котором он в первую очередь ценит евангелическую сторону» [8, 294]. Тем интереснее раскрыть эту сторону. Очертить границы различий между Паскалем и Садулем, их взглядами и вывести общее отношение к русскому человеку и призвана настоящая статья.

С падением царского режима, с первыми завоеваниями Февраля пробуждается интерес к русскому революционному движению за рубежом, особенно во Франции. События Октября для французских интеллектуалов — не что иное, как продолжение Великой французской революции (важно подчеркнуть, что именно французские левые проводили аналогию двух революций, среди большевиков этого почти нет). И дело не только в исторической преемственности. Восприятие Октябрьской революции во многом сродни религиозному

чувству: «Революция — это своеобразное религиозное учение, суть которого в реализации принципов свободы и справедливости, мечта о новом мире Добра и Разума, которую так долго лелеяли в своих представлениях левые. 1917 год — начало новой эры, русским революционерам придавалась мессианская роль с задачей нести революционную идею и освободить мир» [5, 72]. Такое отношение к русской революции часто встречается именно среди интеллектуалов, хотя широкие массы Франции до Компьенского перемирия отрицательно воспринимали русскую революцию и большевиков, в частности. Садуль пишет: «Когда в сентябре 1917 года я покидал Париж, общественное мнение Франции относилось к большевизму, как к грубой карикатуре на социализм» [8, 5].

Жанры «Записок» и «Русского дневника» формируют впечатление и об их авторах, и о предмете их размышлений. Садуль писал реальные письма разным людям, в которых пытался максимально объективно показать картину, складывающуюся именно внутри большевистской партии. Записки его не носили строго формального характера, он часто отвлекался на то, что его по-настоящему интересовало. Он видел ошибки большевиков, давал временами довольно меткие оценки, поражающие точностью, и не был ослеплен большевистскими идеями, хотя и сочувствовал им. В записках Садуля есть один важнейший маркер той эпохи — убеждение в том, что власть большевиков недолговечна. Впоследствии он сам искренне удивлялся, насколько долго они сумели продержаться (счёт идёт на месяцы). Вместе с ощущением недолговечности появлялась и вполне справедливая критика: «Если бы большевики продержались лишь две недели, их бы обвинили в том, что они до основания разрушили старый мир и не стали претворять в жизнь идеи, которые обеспечили им победу. Но они правят страной уже четыре месяца. Старое общественное здание в развалинах. Нужно строить новый город. Первые постройки, возводимые в соответствии с абстрактной доктриной, рухнули» [8, 222].

Паскаль писал дневник, где мог свободно излагать то, что он видел, не концентрируясь на адресате своих посланий. Он смотрит больше, чем рефлексит над происходящим. Поэтому его выводы кажутся предметнее. В дневниках постепенно вырисовывается картина его взглядов, иными словами, после Октября его суждения становятся весомее, полнее. Паскаль постепенно отходит от жанра простых путевых заметок и сосредоточивается на конкретных лицах; появляются люди, которым он даёт возможность высказаться, хотя бы на страницах дневника. Возникает эффект множественных мнений, и это уже ближе к журналистской работе.

Садуль фиксировал в основном самые громкие события (например, убийство Мирбаха), описывал встречи с крупными политическими фигурами. Он был близок революционной верхушке — Троцкому, Ленину, восхищён Александрой Коллонтай. Местами он оговаривался, что много общался с русским народом, но, если следить за ходом «Записок», создаётся впечатление, что русский народ его интересовал только с точки зрения социального переустройства, вначале он пишет: «<...> почти все русские, с кем я беседовал, говорили мне с энтузиазмом о прекрасном будущем, уготованном Великой России, что невозможно отрицать, что ими владеет очень сильное национальное чувство» [8, 17]. В нём не было очарованности русским народом.

Революция — вот предмет его очарования. В отличие от Паскаля, он не знал русского языка (в том числе из-за этого у него были сложные отношения и с Лениным), поэтому не сумел по-настоящему понять двойственность и неоднозначность воззрений русского народа. Он не замечал, что те же красноармейцы могли носить нательные крестики и по большим православным праздникам ходить на службы. Это видел Паскаль: «Разумеется, пропасть между вождями и народом существует. Красноармейцы всегда с крестиком на шее» [7, 511].

Не пробыв и месяца в России, Садуль успевает понять нужды русского солдата: «Русский человек, рабочий и крестьянин, до войны не был счастлив. Попав в солдаты, он стал несчастен ещё больше» [8, 18]. В первом письме Садуль характеризует народ как «крепкий и одновременно сонный, грубый и мягкий», определяя самое важное на тот момент свойство, присущее большинству: «он (народ) инстинктивно ненавидит войну» [8, 18]. Этот обобщённый метод станет основным для его «Записок». Суждения Садуля большей частью не иллюстративны, носят характер возвышенного размышления, а иногда даже воззвания. Для него было важно, чтобы во Франции правильно понимали то, что происходит в России. Но и задачи своей миссии он не забывает: большинство его писем полны мыслей о том, как не допустить заключения русско-германского мира. Всё же интересы Франции оставались для него на первом месте.

Садуль диагностирует у русского народа «этническое безволие», называя душу народа «скорее инертной и ленивой». Своему адресату он пишет: «Вы лучше меня знаете, какая вечность может отделять в России желание и его исполнение, как Россия колеблется, раскачивается, отступает, прежде чем на что-либо решиться, то есть перед ответственностью» [8, 18]. Речь идёт в первую очередь об образе России, который сложился на Западе, образе нерешительного правительства, а возможно, и о стереотипе, который распространяется на весь народ. В этих обобщениях больше благородной риторики, чем фактов.

Сравним с эпизодом из дневника Паскаля: «Утром большая демонстрация по поводу мира. В сущности, она демонстрирует твёрдую волю всего народа: порядок совершенный, полки с командирами без знаков различия, солдаты на конях, свободные люди, одновременно и освобождённые, и в надлежащей форме» [7, 425–426]. Здесь, как и в других отрывках, суждение автора и непосредственный опыт неразрывны. После собрания в латышском полку, куда Паскаль отправился как член миссии с агитационными задачами, он пишет: «У русского народа острое чувство трагического характера этой войны, которой он не желает, которая абсурдна, которой не должно желать человечество, не способное из неё выпутаться» [7, 211]. Осознание к Паскалю приходит именно после столкновения с реальными солдатами, их нуждами и мнениями; и чем больше примеров он видит в жизни, тем крепче становятся его убеждения.

Паскаль формулирует ещё одно важное свойство русского человека — чувство свободы: «...справный земледелец, в трогательных выражениях уверявший меня, что русский крестьянин якобы спасает своего французского брата, рассказывал также, что, попав в казарму, он считал, что оказался в тюрьме» [7, 211]. Многие размышления и выводы Паскаля имеют лирический

характер, свойственный дневниковой форме. Однако прямая и косвенная речь убеждают, что дневник — это свидетельство очевидца, несмотря на то что правдивость этого свидетельства остаётся на совести автора. Изображение событий и мнений играет в нём важную роль.

Наоборот, Садуль прибегает к риторическим приёмам чаще, чем к изображению. Современники отмечали его публицистический дар, но и он всё же поддаётся критике. Местами его мысли противоречивы, иногда — исторически не оправданны, например: «Можно ли предполагать, что этот народ, который никогда не был народом-борцом, а теперь и просто выбился из сил, рискнёт пойти на величайшую авантюру, успех которой сомнителен и которая для него — пустой звук, поскольку он не может воспользоваться её результатами немедленно?» [8, 270]. Садуль фактически отвергает всю русскую историю, оставляя русским лишь главные, отрицательные черты: лень и инертность. Говоря о Троцком, он повторяет, что душа русского народа не отличается «пылкостью и деятельностью», что русский народ пассивен по отношению к своей судьбе. Он не замечает одного противоречия: как может этот ленивый народ воистину верить в идеалы революции, как могут эти трусливые русские люди быть готовыми положить свои жизни за дело революции?

Ближе к концу «Записок» Садуль всё же решает для себя вопрос о будущем русского народа, приходя к мысли, что «российский народ, самодержец своих судеб, верит в себя. Я разделяю его веру. Не знаю, доведёт ли он начатое до конца, но я уверен, что он пойдёт далеко, очень далеко, так далеко, как никогда ещё ни один народ, отправлявшийся в своё время в поход за идеалом» [8, 351]. Эта приверженность идеалу — основополагающая для Садуля. О ней говорит Паскаль («приверженность своему добру»), и в этом они не сходятся: воплощению добра Паскаль уделяет куда больше внимания, чем идеалист-Садуль.

В оценках русского человека Паскаль идёт дальше Садуля. Сравним, как он осмысливает русскую историю вкупе с характером народа: «В покорности и бездействии русский не теряет смысла того, чего он хочет, и никакое внешнее влияние не сокрушает его глубокую волю. Разум подчинён душе, и это иначе, чем на Западе, где зачастую более важным в человеке считается ум, а не доброта» [7, 400]. Заметна религиозная основа, чего у Садуля не встретишь. Русский народ либо ленив в его представлении, либо скор на мирное и бесславное решение затянувшейся войны. В одном месте Садуль говорит: «Русский народ не ждал Ленина и Троцкого, чтобы заявить о своей воле к немедленному миру любой ценой» [8, 131]. И, возможно, это одно из самых точных его социальных наблюдений, без попыток приписать всему народу пылкую веру в революцию, которая была присуща ему самому.

Садуль рассматривает отношение русского народа к революции на начальных этапах как эгоистическое, считает, что людьми владели исключительно «шкурнические» интересы: «Кровная заинтересованность, эгоизм толкают солдата к миру, который только и даст страстно желанные блага» [8, 18]. Он не верит в возможность образования Красной Армии, в то, что народ в ближайшее время будет способен воевать: «Крыленко подготовил длинный, резкий, напыщенный манифест, чтобы призвать русский пролетариат в массовом порядке записываться в Красную Армию. Я упорно не верю в

результаты этого предприятия. Большевики наберут людей, без сомнения. Они не сделают солдат. Они не создадут командиров» [8, 179].

Для Садуля русский народ был своеобразным «материалом», из которого можно что-то вылепить: «Мне куда ближе это мнение, чем мнение Троцкого, которого, как мне кажется, можно упрекнуть в недостаточном знании русского народа, *материала*, с которым он работает...» [8, 59]. В отношении к человеку как к материалу, безразличии или отрицании таких добродетелей, как жалость и сострадание, обрисовывается если не равнодушие Садуля к человеку, то некий холодок. Хотя иначе изображает выдающихся людей — пишет о Троцком, которому уделено больше всего внимания, о Ленине, его интересует личная драма Александры Коллонтай. На страницах «Записок», кажется, только к ней он испытывает подлинную симпатию. Эти фигуры не назовёшь картонными, подогнанными под общий стандарт восторженности советской властью: «Троцкий выглядит уставшим, нервничает и этого не отрицает. Начиная с 20 октября, он не был дома. Его любезная супруга, яркая, подвижная, изящная женщина, рядовой партиец, говорила мне, что жильцы их дома грозятся убить её мужа. Нет пророка в своём квартале, но, согласитесь, разве не забавно вообразить, что сей безжалостный диктатор, властелин всея Руси, не смеет ночевать дома из страха перед метлой консьержки?» [8, 63–64].

В «Русском дневнике Паскаля невозможно встретить восхищения теми, кто вершит революцию. Он — социалист, всё своё внимание уделяющий человеку в отрыве от общества. Не отрицая, впрочем, местами “эгоистичных” интересов русского народа, он всё-таки испытывает жалость к нему: “Я испытываю бесконечную жалость к бедным русским солдатам, пылким и убеждённым («За *правду* я готов умереть»), пострадавшим от вероломства командиров”» [7, 518].

На страницах «Записок» Садуля, напротив, трудно найти сочувствие и сострадание. В одном письме, почти целиком посвящённом анализу качеств, присущих русскому народу, он «выносит приговор»: «Безграничная снисходительность, терпимость, сострадание во всём. Я знаю, что это качества главным образом отрицательные, что они часто прикрывают безразличие, слабохарактерность, трусость, эгоизм» [8, 235–236]. Можно отнести это на счёт личных установок и характера Садуля. В людях он ценил силу и приверженность своему делу, «людьми дела» называл и большевиков не без некоторого восхищения, которое тогда разделяли многие: их уважали, Троцкого в особенности, за организаторский талант.

Любопытно, что пишет Садуль несколько ранее размышлений о слабохарактерности: «Справедливость и доброта. Русский народ душевно добр. И очень милосерден. Подают всем, кто протягивает руку. Один пример: дома у знакомого большевика, скромного человека. Ужинаем. Звонок. Какой-то солдат просит рубль. Обычное дело. Хозяин идёт к дверям. Солдат пьян. Его просят уйти. Горничная, которая получает 20 рублей в месяц, выходит на лестницу, даёт солдату рубль, возвращается и ворчит на хозяина дома. “Он же совсем напьётся”, — возражает он ей. “Не ваше дело, — сердится она. — Солдат просил у вас рубль, значит, ему было нужно. Значит, ему нужно напиться. Не вам его судить!” И это по-русски. И это правда. У нас нет права судить других» [8, 235].

Паскаль искал компромисс, пытался увязать своё внутреннее отношение к социальной несправедливости, против которой восставал, и традиционное политическое устройство России, отдавая предпочтение монархии: «Особое отвращение вызывал парламентаризм, политическая революция не казалась мне достойным выходом... Абсолютная монархия, напротив, не имела ничего, что могло бы не понравиться, когда она находится в согласии с разумным социальным порядком справедливости и равенства. Царизм казался благом на фоне прочей мерзости. <...> Отрицая социализм, я думал, что русские революционеры хотят сместить с трона царя для установления буржуазного парламента, поэтому я их ненавижу. Такие мысли бродили в моём мозгу вплоть до русской революции» [4, 181–182]. Но взгляды Паскаля менялись: в России он пережил увлечение большевиками и постепенное разочарование. Слишком сильно он чувствовал разницу между идеей революции и практическим её воплощением. Уже в 1920 году в письме своему однокашнику он говорит о том, что «большевики казались ему “разрушительной силой”» вплоть до Октябрьской революции, которая была «результатом действий меньшинства с молчаливого согласия большинства» [7, 16].

Помимо описания разговоров с крестьянами, солдатами, прислугой, в «Дневнике» Паскаля встречаются тезисы его докладов, заметки о встречах с русской интеллигенцией, членами религиозно-философского общества: Николаем Бердяевым, Сергеем Булгаковым, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым. Интересен его доклад на собрании во Французском институте в Петрограде (27 октября 1917 г.), где он обрисовывает сложившийся у него образ русского народа, перечисляет главное, что, по его мнению, этому народу присуще: «Отвращение к строгому соблюдению правил, к подчинению, принуждению», «презрение к тому, что традиционно», «сентиментальный патриотизм без примеси национализма», «религиозность без догматизма», «интуитивная мораль без фиксированных правил», «потребность по любому вопросу начинать от сотворения мира», «отвращение к смертной казни и войне», «полное воплощение принципов (напр., толстовская мораль)», «как следствие — меланхолия и склонность к отчаянию, к моральной капитуляции; будучи не в силах достигнуть абсолютного блага, бросаются в абсолютное зло» [7, 399–401]. Из всех приведённых качеств Паскаль делает вывод, что у русского народа «душа преобладает над разумом и волей», с оговоркой, что волю в данном случае не стоит понимать как побуждение к действию или самодисциплину. В этом смысле он, так же, как и Садуль, отказывает русскому народу в «пылкости и деятельности», называя его скорее бездеятельным и ленивым. Но тут же себя одёргивает: по его мнению, русская лень имеет особую форму, которая есть «смирение перед бессилием, бесполезностью усилий» [7, 400].

Нечто подобное найдём и у Садуля: «Те, кто знают Россию, кто знают ту жажду абсолюта, которая терзает настоящих русских, абсолюта во всём, в хорошем и в плохом, жажду абсолютной доброты, абсолютной красоты, абсолютной истины; те, кто, как я, видели, как стала воплощаться в жизнь прекрасная мечта, от власти которой трудно и медленно освобождаются Троцкий и Ленин, те, кто знают, сколь скрыто в этих русских душах морального величия, с каким энтузиазмом они стараются создать реальность будущего из химеры настоящего, те единственно достойные видеть, единственно способ-

ные понять великие события, происходящие на наших глазах, — те не могут смеяться» [8, 188]. Паскаль в резюме доклада замечает, что жажда абсолюта, в силу недостижимости этого абсолюта, превращается в стремление к абсолютному злу. Может быть, он предчувствовал, чем может обернуться эта «жажда абсолюта» для русского народа, но никаких комментариев по этому вопросу мы больше не находим. Жажду абсолюта можно назвать «религиозностью без догматизма».

Религиозность в связи с Паскалем нуждается в пояснениях и оговорках. Безусловно, он принадлежит западной церкви (кстати, ратует за объединение или хотя бы сближение католической и православной церквей), но аскезы в его исповедании мы не находим, как и догматической строгости. Это тип светского человека, который впитал идеи своего времени и с завидной настойчивостью пытается объединить духовное с социальным. То, что коммунизм становится религией — парадокс, о котором свидетельствует духовный опыт Паскаля. Его слова «я пришёл в коммунизм, словно в религию» [4, 175] отражают глубокое переживание молодого человека, бывшего монархиста, католика и социалиста в одном лице, для которого коммунистические идеи и христианство сливаются воедино. Исследователь Жорж Нива пишет о Паскале, что он, вероятно, «единственный уроженец Запада, ушедший в коммунизм, как в монастырь» [6, 79].

Смещение религиозного и революционного порыва отчасти заметно в словах Садуля: «Я знаю, что логика не революционная наука и что революции совершаются *скорее сердцем, а не разумом*, — что некое не поддерживаемое Германией движение имеет мало шансов на успех и даже на то, чтобы попытаться его добиться» [8, 270]. Во время написания этого письма Садуль уже не верил в возможность всемирной революции, по крайней мере в Европе. Идея «чистейшего идеала всемирного братства» становится всё менее достижимой на деле. «Революции делаются сердцем» — рефрен его писем, то настроение, с которым он писал многие из них. Чувственное, мистическое отношение к революции — вот что оказывается за всей чередой фактов и событий.

Интересно то, что приверженность революционным идеалам на Западе воспринималась как болезнь, которая быстро разносится. У Садуля находим: «Петров мне говорил, — и это подтверждают многие, — что военнопленные, возвращающиеся из России в Австрию и Германию, не направляются в свои части и не отпускаются по домам, их помещают в специальные концентрационные лагеря, где за ними ведётся наблюдение и где они подвергаются настоящему политическому переобучению. Только после долгих недель “лечения” “больные” признаются здоровыми и возвращаются в свои части. Неизлечимых изолируют, предупреждая всякую опасность эпидемии» [8, 256]. Болезнь, заражение — на Западе, мистическая восторженность — в России. Два взгляда, на пересечении которых оказываются и Садуль, и Паскаль.

В годы революции религия всё более отчуждается от нового общественного устройства, проигрывая в идеологической борьбе. Но религиозность как внутреннее ощущение человека становится основой для нерелигиозных феноменов. В предисловии к французскому изданию «Священного и мирского» Элиаде говорится: «Секуляризация той или иной религиозной ценности — это всего лишь религиозный феномен, иллюстрирующий, в конечном счёте, закон всеобщего преобразования человеческих ценностей» [9, 14]. Преобразование

человеческих ценностей в это время действительно заметно. Это фиксирует и Паскаль: «Жители одной деревни в Тульской губернии два года назад пышно похоронили на общественный счёт дочь своего бывшего помещика, убитого на войне. Даже часовенку возвели над могилой и т. д. Недавно они принялись грабить собственность, раскопали могилу, вскрыли гроб и сняли с трупа ботинки» [7, 416]. Но встречаются и другие записи: «А народ революционный, потому что христианский. Одни и те же солдаты отпраздновали первое мая, а теперь со свечками в руках поют псалмы» [7, 474].

Оказавшись на русской почве, идеология марксизма не терпела никаких двусмысленностей. Именно идеология, а не «руководство к действию», если понимать под идеологией некое представление, отвечающее вопросам многих, которое на деле никогда не может достичь полной реализации своего содержания. Некоторые люди могут искренне верить в то, что они делают, и руководствоваться в поведении именно этими представлениями, но в процессе реализации мотивы и их содержание искажаются. Впоследствии многие на Западе писали о некоторых сходствах христианства и коммунизма. Интересно, что и убеждённые марксисты думали над этим вопросом. Роже Гароди в книге «Марксизм XX века», приводя цитаты Маркса, Энгельса, Ленина, замечает, что в своей борьбе ранние христианские общины и революционное движение во многом схожи. Любопытна цитата, посвящённая теологу Томасу Мюнцеру, в одной из работ Энгельса, которую приводит Гароди: «...Рай, — учил он, — не является чем-то потусторонним, его нужно искать в этой жизни, и призвание верующих состоит в том, чтобы установить этот рай, т. е. царство божье, здесь на земле» [3, 88]. И с этой точки зрения сходство действительно налицо. Гароди далее приводит ещё одно сходство, которое базируется на идее «человеческой основы» христианства: «...на реальный вопрос даётся мистифицированный ответ, подлинному требованию — иллюзорное удовлетворение» [3, 94]. Здесь он проводит черту — «общий знаменатель» христианства и коммунизма, повторяя мнение Энгельса, а также Мориса Тореза. Говоря, что христианству присуща «философия действия», Гароди тем самым также очерчивает сходство коммунизма и христианства, но стоит заметить, что «философия действия» христианства имеет скорее личностное начало.

Коммунизм в понимании многих религиозных мыслителей предстаёт как явление антирелигиозное. С. Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», анализируя последствия атеизма среди русской интеллигенции, подчёркивает именно атеистическую направленность коммунизма, но острота зрения и наблюдательность заставляют его сделать оговорку: «Сколько раз во II-й Государственной Думе в бурных речах атеистического левого блока мне слышались — странно сказать! — отзвуки психологии православия, вдруг обнаружилось влияние духовной прививки» [2].

Н. А. Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма» довольно подробно объясняет причину этого феномена: «Лучший тип коммуниста, т. е. человека, целиком захваченного служением идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского воспитания человеческих душ, вследствие переработки натурального человека христианским духом. Результаты этого христианского влияния на человеческие души, чисто незримого и надземного, остаются и тогда, когда в

своём сознании люди отказались от христианства и даже стали его врагами. Если допустить, что антирелигиозная пропаганда окончательно истребит следы христианства в душах русских людей, если она уничтожит всякое религиозное чувство, то осуществление коммунизма сделается невозможным, ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не будет уже понимать жизни, как служение сверхличной цели, и окончательно победит тип шкурника, думающего только о своих интересах» [1, 138–139].

На проблему соотношения личного и общественного Н. А. Бердяев отзывается так: «Вопрос о хлебе для меня есть вопрос материальный, но вопрос о хлебе для моих ближних, для всех людей, есть духовный, религиозный вопрос. “Не о хлебе едином жив будет человек”, но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех. Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб был для всех, и тогда именно духовный вопрос предстанет перед человеком во всей своей глубине. Недопустимо основывать борьбу за духовные интересы и духовное возрождение на том, что хлеб для значительной части человечества не будет обеспечен. Это цинизм, справедливо вызывающий атеистическую реакцию и отрицание духа. Христиане должны проникнуться религиозным уважением к элементарным, насущным нуждам людей, огромной массы людей, а не презирать эти нужды с точки зрения духовной возвышенности. Коммунизм есть великое поучение для христиан, часто напоминовение им о Христе и Евангелии, о пророческом элементе в христианстве» [1, 150–151]. Паскаль тоже видит необходимость в подобном «поучении»: «В настоящее время те, кто исповедуют христианство, не являются христианами, а те, кто в душе христиане, плюют на христианство. Только вот социализм не любит людей; но и христиане тоже не любят...» [7, 568].

Это двойное дно коммунизма удивительным образом нащупал Паскаль. Но будучи в душе католиком, он исходит из позиции «блага для народа». Вот где его размышления очень напоминают размышления Бердяева: «Я считаю коммунизм и католицизм, такие, какие они есть, не деформируя их, не только совместимыми, но необходимыми друг другу и взаимодополняющими» [5, 90]. Далее он подчёркивает: «В самой Сумме св. Фомы легко обнаружить выводы о роли частной собственности, совпадающие с марксистской доктриной. Католические мыслители точно понимали и осуждали капитализм по мере возникновения... Правительство создано народами и для них: если оно стало скорее вредным, чем полезным, оно должно быть опрокинуто силой, через революцию. Со стороны государства смертная казнь и война есть средства в некоторых случаях необходимые. Со стороны индивидуума позитивная и энергическая деятельность превыше инертного смирения. Таково современное подлинное учение католицизма» [5, 91]. Бердяев не говорит о правительстве, для него важно понимание нужд общества и желание сделать минимальными эти нужды. Он не сравнивает христианские добродетели (такие, как смирение) с добродетелями, нужными революции. Паскаль всё же уходит в некое оправдание социализма, того, каким он стал в России. Садуль в одном месте тоже оговаривается о роли общества, конкретно на примере России: «...Вопрос только в том, общество ли создано для человека, или человек — для общества. В России без колебаний принимают первое» [8, 236].

Человек как действующая единица, согласно Паскалю, входит в новое понимание католицизма, которое он формулирует, исходя из своих обществен-

ных убеждений. Здесь и возможно духовное объединение (революционный порыв русского человека и есть подлинное действие), здесь стирается грань между раем церковным и раем земным. Достижение всеобщего блага имеет религиозные основы, поэтому для Паскаля социализм не является чем-то неполноценным, но только тот социализм, который связан непосредственно с человеком, а не с отвлечёнными идеями. Для России он видит именно такой путь: «Русский народ наиболее глубоко проникнут христианством, а принципы социализма его особенно соблазняют. Именно он более всего осознал человеческую слабость, и прежде всего слабость отдельного человека» [7, 401].

И Паскаль, и Садуль, таким образом, в своих записях не ограничиваются реестром событий или исторических лиц. Предмет их изображения — русская революция — приобретает черты, свойственные их мировоззрению. Ценность записей в том и состоит, что они позволяют исследовать саму основу мировоззрения и вывести общий знаменатель, составив впечатление об эпохе. Такой интеллектуальный срез бывает важнее исторического описания событий, потому что создаёт ментальный образ русского народа, его вождей, идей и чаяний. Но образ невозможно было бы создать без глубокого проникновения в народную жизнь. В этом смысле «Русский дневник» Пьера Паскаля — это взгляд на Россию, а «Записки» Жака Садуля — взгляд из России в сторону Запада.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990. 224 с.
2. Булгаков С. Н. Вехи. Сборник статей русской интеллигенции. Героизм и подвижничество, 1909. [Электронный ресурс]. URL: <http://imwerden.de/publ-1060.html>
3. Гароди Р. Марксизм XX века. М.: Прометей, 1994. 175 с.
4. Данилова О. С. Французское «славянофильство» конца XIX — начала XX века: диссертация кандидата исторических наук: 07.00.03, Екатеринбург, 2005. 237 с.
5. Краева Т. В. Образ революции в системе представлений французских левых интеллектуалов: 1917 — сер. 30-х гг. XX в.: диссертация кандидата исторических наук: 07.00.03; Екатеринбург, 2006. 242 с.
6. Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. М.: Высшая школа, 1999. 199 с.
7. Паскаль П. Русский дневник: Во французской военной миссии (1916–1918). Екатеринбург: Гонзо, 2014. 592 с.
8. Садуль Ж. Записки о большевистской революции (октябрь 1917 — январь 1919). М.: Книга, 1990. 400 с.
9. Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.

REFERENCES

1. Berdjaev N. A. Istoki i smysl russkogo kommunizma [The origins and meaning of Russian communism]. Reprintnoe vosproizvedenie izdanija YMCA-PRESS, 1955 g. M.: Nauka, 1990. 224 s.
2. Bulgakov S. N. Vehi. Sbornik statej russoj intelligencii. Geroizm i podvizhnichestvo, 1909 [Milestones. Collection of articles of the Russian intelligentsia. Heroism and asceticism, 1909]. Available at: <http://imwerden.de/publ-1060.html>

3. *Garodi R.* Marksizm XX veka [Marxism of the XX century]. M.: Prometej, 1994. 175 s.
4. *Danilova O. S.* Francuzskoe «slavjanofil'stvo» konca XIX — nachala XX veka [French «slavophilia» of the late XIX — early XX century]. Dissertacija kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.03, Ekaterinburg, 2005. 237 s.
5. *Kraeva T. V.* Obraz revoljucii v sisteme predstavlenij francuzskih levyh intellektualov: 1917 — ser. 30-h gg. XX v. [The image of the revolution in the idea system of French left intellectuals: 1917 — 1930]. Dissertacija kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.03; Ekaterinburg, 2006. 242 s.
6. *Niva Zh.* Vozvrashhenie v Evropu. Stat'i o russkoj literature [Return to Europe. Articles about Russian literature]. M.: Vysshaja shkola, 1999. 199 s.
7. *Paskal' P.* Russkij dnevnik: Vo francuzskoj voennoj missii (1916–1918) [Russian diary: In the French military mission (1916-1918)]. Ekaterinburg: Gonzo, 2014. 592 s.
8. *Sadul' Zh.* Zapiski o bol'shevistskoj revoljucii (oktjabr' 1917 — janvar' 1919) [Notes on the Bolshevik revolution (October 1917 — January 1919)]. M.: Kniga, 1990. 400 s.
9. *Eliade M.* Svjashhennoe i mirskoe [Sacred and profane]. M.: Izd-vo MGU, 1994. 144 s.